

Литературный конкурс журнала «Север»
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА

Эмилия ГАЛАГАН

г. Мурино, Ленинградская область

**ЕСЛИ БЫ МОЖНО
 В СЕРДЦЕ ПОГЛУБЖЕ...**

*Если бы можно
 В сердце поглубже
 Вклеить портреты,
 И я на память оставлю
 Свои сигареты...*

Земфира

1

Я сидела на оградке у автобусной остановки и рыдала. Истерика выворачивала всё внутри, словно меня рвало слезами. Но чем больше бесновался этот шторм, тем бесстрашнее повторялась одна-единственная мысль.

Твоя лучшая подруга вышла замуж.

Твоя лучшая подруга вышла замуж и уехала за границу.

Твоя лучшая подруга вышла замуж, уехала за границу, а ты так завидуешь ей, что сидишь и плачешь прямо посреди улицы, где тебя могут увидеть знакомые.

Ты завидуешь своей лучшей подруге — кто ты после этого?

И я набирала в лёгкие воздуха, каждый вдох поднимал во мне очередную волну слёз, чтобы обрушить её на внешний мир.

— Эй, молодая!

Я подняла глаза и увидела рядом с собой приземистую цыганку в широченной пёстрой юбке и огромной неуклюжей тёплой куртке.

— Сигаретки не найдётся? — Я автоматически достала из кармана пачку и протянула сигарету цыганке. — Спасибо, дорогая! А огоньку?

Я достала зажигалку. Цыганка затянулась, блаженно прищурилась и присела рядом со мной на оградку. Только когда она села, я поняла причину её необъятности: очевидно, цыганёнок досиживал в ней последние дни перед появлением на свет.

Отлично! Я дала сигарету беременной женщине.

Краем глаза заметила, что какие-то люди на остановке остро и неодобрительно смотрят на меня: видимо, они ей отказали, и она нашла меня.

«Вот такими поступками насобирала себе судьбу», — мрачно подумала я, но слёзы больше не полились.

Я посмотрела на цыганку:

повесть



- Ты гадаешь?
Она спокойно ответила:
– А чего гадать-то? Родится – узнаем.

2

Сигареты были не мои. Я не курю такую дешёвку – противно. Сигареты Толика... Его... Чтоб его!..

История вышла дурацкая. И начало дурацкое, и конец. Познакомились случайно в сквере. Подвалил, начал что-то втирать, мобильник попросил: типа позвонить кому-то очень срочно. Как выяснилось потом, позвонил самому себе на забытую дома «трубу». Это чтоб телефончик мой не просить. Толик же, сука, стеснительный у нас!

Начал названивать. Пару раз послала, потом разговорились что-то. Ну да, подловил, гад:

- Чего ты злая такая? – спрашивает.
– А с чего это ты решил, что я злая? – говорю.
– Чего я доброй должна быть? Тем более к тебе, я ведь тебя вообще знать не знаю.
– А презумпция невиновности?
– У меня презумпция виновности!
– А чего так?
– Гады одни кругом!
– Да не ври!
– Я в жизни не врала!

И пошло... Ходили на пиво пару раз, да. Думала: а чего – схожу, начнёт приставать – поругаюсь, будет повод послать подальше. Но приставать не стал – так, поговорили, да и всё. Ну потом ещё пару раз. И понеслось... С одной стороны, фиг бы с ним, нигде ничего не жмёт, но так все же думают, что он мой парень. И это, блин, бесит. Ко мне вот так прилипает какое-то чмо – и все сразу меня замуж выдают, а если я злюсь, так ещё и глаза таращат – типа «ты чё?». Добрые люди, да.

Знаете, может, я чего-то не понимаю в жизни, но я не хочу, чтоб все думали, что мой парень – этот придурок со сломанным и криво сросшимся носом, мутными глазами и привычкой ходить круглый год в одной и той же майке с Летовым. Да пофиг на это, но то, что он трижды (трижды!.. не то что я...) бросал универ, несколько раз вылетал с работы за пьянку и моется только когда уже лень чесаться,

– это уже полный пэ. Полный. Не мой он парень. Не был моим и не будет.

Вчера зашёл ко мне книжки отдать, был уже изрядно датый, попросился в туалет. Пустила, только у нас смыв не работал – я его предупредила. Так этот debil решил помочь. Починить. Какого чёрта он вообще полез к нашим гнилым трубам-то? Хорошо ещё, что нам, как душам, не слишком погрязшим во грехах, досталась вода, а не дерьмо. Но вода нам тоже была не нужна – фонтаном из труб нам вообще ничего не нужно было. Да и соседям снизу тоже.

Но воде как-то пофиг – знай себе хлещет, как дурь из пьяного. Родилась я, мама с папой, не засунете обратно.

Хорошо, кто-то из соседей додумался воду в доме перекрыть. А в квартире уж потихоньку вычерпали всё. Толик-придурок только мешал убирать, нарывался на тряпкой по морде.

Выперла я его, а он куртку оставил. Ну вот я её и надела сегодня. Холодно просто, весна ранняя. В моей – молния полетела, а до зарплаты ещё дожить.

Не звонил сегодня, не интересовался: то ли денег нет на телефоне, то ли стыдно, то ли продолжает где-то бухать.

3

Я работаю в газетном киоске на автобусной остановке, которая, в свою очередь, располагается возле железнодорожной платформы.

Ну, газетным я киоск называю, когда меня про него спрашивают. А на самом деле деньги мы делаем в основном на сигаретах да всякой жратве по мелочи: сухарики там, чипсы, сникерсы и прочее. Но «газетный» всё-таки нейтрально звучит, не то что «сигаретный». Я как-то это... сигареты не уважаю. Сама могу дым попускать только пьяная или для самоуспокоения...

Работаю я неделя через неделю, семь дней подряд, по тринадцать часов в сутки. Отопления нет – только маленькая электропечка на полу, туалет – через дорогу, платный, но дешёвый, всего-то десять рублей. Ещё там есть пышечная, тоже дешёвая, и колонка, бесплатная, на которой я беру воду, чтобы вскипятить её у себя в ларьке и попить чаю. В общем, вот так вот живём. Нормально.

Если время есть свободное, то можно журналы читать, книги. Но лучше, когда времени свободного нет, — это когда клиентов много, выручки хорошие, мне и зарплата неплохая получается. Хотя бывают дни: народу уйма — не присядешь, а потом считаешь кассу — мама дорогая, копейки! Это от того, что народ всё по мелочи брал: кто сканворды за десять рублей в электричке поразгадывать, кто катушку ниток за пять рублей, а то школьники жвачки по рублю брали. Много ли с такими покупателями наторгуешь?

А иногда моё заведение психи жалуют. Они тут неподалеку обитают, заведение у них особое: и дурка, и не дурка. Вроде не запирают их там, кормят-поят, даже иногда какие-то деньги на карманные расходы дают, вот они прибегают за жвачкой и колой. Как дети, только сдачу чаще забывают. Чему удивляться? Дети — продолжения взрослых, а психи сами по себе, без конца и без начала... Не от мира сего, в общем.

Главный от мира сего — хозяин-азербайджанец. Зовут Фихерат, сменщица моя, Ирка, сократила его имя до **ра, так и зовёт — «старый **р». Он и верно старый — уже за шестьдесят. Хозяин утром газеты подвозит, а вечером выручку забирает да мозги полощет — типа воспитывает.

Я свою работу люблю. Иногда. Когда дождь. Все на остановке мокнут, а я внутри сижу. Смотрю, как вода по стеклу течёт. Потом, конечно, стекло всё в разводах, но это фигня — Ирка вымоет. Она у нас главная, у неё зарплата выше — пусть моет.

Вечером тоже хорошо. Темно, а когда электричка проезжает, то её окна светлой цепочкой проносятся мимо моего киоска. Электричка едет в город или из города. Я была на конечных станциях. Знаю, городской вокзал — многолюдный, шумный, со множеством мелких торговых точек...

А конечная — райцентр. Самый дальний в области. Туда как подъезжаешь — леса, леса. Потом только этот городишко, затерянный, как крик «ау!»: знаешь, что где-то есть тот, кто кричал, идёшь, идёшь на голос, а человека всё нет и нет. А может, и не кричал никто... Может, птица или другое что... В темноте-то мало ли...

В райцентре я была пару раз — городишко

тихий. Народ рабочий, в меру дурной и пьющий. В основном работают в городе, ездят в электричках туда-сюда. Ну, как и наши люди. Я-то на окраине живу, от райцентра мы мало чем отличаемся. Хотя у нас там не конечная станция — не крайние в своих собственных глазах, что важно. Ну, приятно знать, что кто-то ещё глубже тебя в жопе сидит.

Вечером у меня покупателей мало. Район такой — опасно гулять в тёмное время. С освещением не очень. В темноте маньяки бродят. Гопничьи стада на выпас выходят. Нормальный человек дома сидит.

Обычно я час перед закрытием сплю. Слушаю грохот электричек, закрываю глаза и пытаюсь думать, что они идут куда-то, где я не была. В город, где нет людей, только стоят ровными рядами многоэтажные дома, смотрящие друг на друга одинаковыми пустыми и ясными окнами, а вдоль улиц тянутся ряды деревьев с аккуратными шарообразными кронами, которые никто и никогда не стриг. Длинная главная улица ведёт к морю. Оно тёмно-серое, тяжёлое и беспокойное, как недобрые сны. Оно всё говорит, и его невнятную речь можно слушать бесконечно, не теряя надежды однажды разобрать в ней что-то, предназначенное именно для тебя...

Твоё настоящее имя. Никто его не знает. Даже ты сам. Если вас двое — ты и имя, можно поджечь мир с двух концов — и тогда никому не спастись.

Но я знаю обе конечные станции. Знать — это то же самое, что быть мёртвым. Я бы очень хотела быть в чём-то не уверенной. Но маршрут на карту уже нанесён.

4

Зимой, конечно, времена не очень. Холодно. Сяду у печки на пол, под прилавок спрячусь, а постучат — я тут как тут. Снаружи меня плохо видно, в витринах — товар: игрушки-фигнюшки, кошельки из кожи дикого дерматина, книжки классиков мировой макулатуры и прочее. В общем, я внутри всего этого, меня не видно. И хорошо.

На полу сижу, греюсь, как в деревне, только дрова подбрасывать не надо. Иногда Сашка

погреться заходит. Чудило, дисками торгует на станции. Стоит зимой, диски его снежком припорошит, а он с ноги на ногу переминается. Хорош! Как совсем промерзнет, диски в мешок — и ко мне. Стучится.

— Привет!

— Заползай!

Ирка ему обычно говорит: «Чё, яйца отморожи?» Но я предпочитаю без юмора про холод.

Сашка — Иркин младший брат. Считается позором семьи, хотя я бы поспорила, кто из них позорнее — Сашка или сама Ирка. Ну да, Сашке не везёт с работой: долго он нигде не задерживался. Хотя не пьёт совсем, в отличие от сестрёнки. Ну да, он слегка тормозной. Тупит частенько. Думу думает и тупит — дело обычное, философское.

Когда он приходит, я сооружаю свою кипяtilьную установку: толстого бесплатного «Графа Монте-Кристо» от «Комсомолки» — на пол, на него — банку с водой, в неё — кипяtilьник. Старый **р закупил где-то кипяtilьников с очень короткими шнурами, без книжки до розетки не дотянуться. Внизу, в коробке, — просроченные сникерсы, жрём их помаленьку. Подзаряжать аккумуляторы надо — вот и жуём.

— ...Как дела, Сашок?

— Да я вот у тебя присмотрел куклу вот эту... Отложи, я с зарплаты Маринке возьму. Хорошая ведь кукла?

— А чем плохая? Её включаешь — она ножками дрыгает и песню поёт. По-китайски.

— Да пофиг. Главное, хорошенькая. Понравиться должна.

— А Лена твоя как?

— Всё так же. Злятся на меня. Говорит: «Кормлю тя, дармоеда». Грозится выгнать.

Я сочувственно вздыхаю. Сашка живёт с одной бабой — пьянчужкой-разведёнкой, на десять лет старше его, дочка у неё маленькая. Эту дочку, Маринку, Сашка очень любит, да и саму Ленку тоже, хотя и не верится, что такую тётку — сизую, как лежалый снег, — вообще кто-то способен любить. Но, видать, есть те, кто выбирает лучшее, и те, кто спец по отбросам. Наверно, из-за Ленки Сашку-то и считают позором семьи.

В общем, живут они — воюют, но не расходятся. Сашка старается, зарплату всю ей отдаёт. Только какая у него зарплата? Смех один.

— ...А ты как? — спрашивает он у меня.

— Судуку разгадываю. Видишь, купила себе толстенный том — считай, «Война и мир» по объёму, а всё судуку... Гадать не перегадать...

— А я судуку разгадывать не умею.

— Фигня. Толстого читать сложнее.

— А я и не читал.

— Ну и зря. За куклой не забудь зайти.

Сашка — хороший отец, пусть и не родной. Когда Маринка вырастет, ей будет чуть легче, чем мне.

5

Отец мой — пропаванец: то объявится, то исчезнет.

А мама... С мамой мы уже три месяца не разговариваем. Когда я ей звоню, она задаёт мне один и тот же вопрос: «Почему ты бросила универ?»

Каин, где брат твой Авель?

Да убил я его, убил, в сотый раз говорю!

Где брат твой?

Ты глухой, Боже, или как?

Как вышло, что человек, прочитавший «Войну и мир», работает сейчас в ларьке продавцом?

Не спрашивайте, почему я бросила универ, прошу вас. Я вообще не хочу помнить, что он когда-то был в моей жизни. Универ и этот человек. И как я бежала за ним по лестнице — широкой универской лестнице, — расталкивая локтями студентов и преподав, всех, кто попался на пути: «Подожди! Куда ты? Стой!!! Сейчас же стой!!!»

Те стены не слышали столь отчаянного вопля. Да и не только стены. Думаю, и потолок прошибло. Это мой голос. Мой голос был таким. Язык не враг, клевета. Голос!.. Голос нас губит, проклятая отрыжка души!

6

Говорят, малое горе лечится большой бедой. Чужой бедой. Я смотрю на большую беду, но эффект нулевой. Она слишком велика для меня — не втиснется.

В туалете общественном у нас бабка одна работает — Ивановна. С виду бабка как бабка, обычная, соответствует отчеству. Но вооб-

ше-то она у нас что-то вроде местной знаменитости. Сын у неё умер лет пять назад. Точнее, не умер — погиб. Мент он был, попал под бандитскую пулю. После этого она немного умом тронулась, начала книжки всякие читать. Шизотерика. Устроилась в наш туалет кассиром и сидит себе, читает карму-дхарму и прочая... Не моего убогого ума дело.

А потом как-то увидела она сына продавщицы одной, из «Белорусских колбас», и показала ей, что это её, Ивановны, сын, только маленький. Она сразу к нему:

— Коленька, Коленька! — кричит.

Продавщица та её отпихивает:

— Какой он тебе Коленька? Серёжа это!

Но Ивановне уже всё стало ясно: это сын её, Коля, только перерождённый. Она так той продавщице и сказала. Та, конечно, хотела было её послать куда подальше, да всё-таки мать не может не пожалеть другую мать: как-то они пришли к согласию по этому вопросу. С тех пор Ивановна всем, кто по своим неотложным делам к ней забегает, всё про сына своего что-то норовит рассказать. Даже рисунки его какие-то на стену налепила.

Вот так растёт пацан и с детства слушает, что он уже когда-то жил здесь, был Колей, пал смертью храбрых. Хорошо ему: ещё ничего не сделал, а уже герой. Хотя, быть может, вся суть как раз в том, что всегда оказываешься одним и тем же?

7

Помню ещё со школы: вот задали на дом какой-то ужасно сложный, малопонятный параграф. Хоть и вчитываешься изо всех сил — ничего не понимаешь, материал не вмещается в голову, как будто пытаешься запихнуть в кухню хрущёвки кафедральный собор с куполами и колокольной. На перемене с ребятами обсуждали этот проклятый параграф и так, и эдак — у всех на лицах тот же ужас.

И вот он — час расплаты! Едва только прозвенел звонок на урок — окаменеваешь, сердце проламывает рёбра, мозг вспухает в отчаянных попытках вспомнить хоть что-то, кончики пальцев леденеют от страха... (Хотя нет, это потому, что в школе плохо топят.) И знаешь,

что никто в классе не выучил, никто не понял, никто не поднимет руки и не ответит, чтобы другого выручить. Скорее всего, кого бы ни вызвал учитель — отвечать никто не станет, уж лучше получить два, чем, в муках рожая мысли, корчиться у доски, пытаясь разобраться в этой белиберде, в формулах или датах — что там у нас? — неважно.

А учитель спокойно приветствует класс, открывает журнал — всё как обычно, чёртов лицемер! Как будто ему, учителю, не известно, что он задал невообразимый, недоступный человеку человеку уму бред. И он говорит что-то, как бы между прочим, про погоду: «Надо же, какая дождливая осень в этом году...» Да будет он сегодня спрашивать или нет?! Когда уже, чёрт возьми?! И вот этот садист вспоминает про домашнее задание. На лицах одноклассников гаснут лучи надежды — сугуляются, пряча глаза. Напряжение становится невыносимым.

— Кто желает ответить на вопрос?..

И вдруг — учитель ещё не успел договорить — не понимая, что творишь, ты вскакиваешь и говоришь:

— Я хочу!

Ловишь на себе взгляд учителя: он удивлён энтузиазмом. Ага, понимает-таки, гад, что параграф дурацкий и нормальный человек отвечать его не вызовется, — только дурак полный вроде тебя. И ты плетёшься к доске, недоумевая от собственной дерзости и не понимая, что же ты будешь сейчас говорить. И тебя провожают взгляды остальных — такие же недоумённые и растерянные. Никто не понимает, чего это ты вызвался на эту пытку. Да и к тому же ты вроде как отвечал в прошлый раз... Значит, не из «группы риска». Чего ж тогда высунулся?!

Что за сила толкает нас вскочить с места в такие моменты? Мы вообще думаем? Но как, Господи?.. Как думать, когда мозг распирает, потому что в него только что втиснули собор с куполом и колокольной? И, чтобы он не звенел колоколами, не блестел куполами, не гремел хорovým пением, ты вскакиваешь и идёшь отвечать, рискуя своими четвертными отметками.

Всё дело в том, что ты — это ты. Наверное, ты был собой уже там, откуда пришёл.

8

После работы я бегу домой. Мы живём с Верой. Она моя лучшая подруга. Самая лучшая. В квартире пахнет специями, так что немножко щекочет в носу. Вера возится у плиты.

- Пиццу сегодня поставила, твою любимую.
- С грибами?
- Само собой! И много сыра...
- Как день прошёл?

Она пожимает плечами:

— Написала две воодушевляющие статьи. Одну — для матерей-одиночек, другую — для импотентов. Заказчики довольны вроде.

— А ты сама?

— А то ты не знаешь, что, будь моя воля, я бы каждую статью заканчивала словами: «Повесься, неудачник!»

— Но, если они повесятся, кто будет платить?

— Да уж, — она криво усмехается. — Если перестанут страдать — тем более. Так что мне выгодно, чтобы они как можно дольше страдали.

— Тайная мечта всех докторов: чтоб больной подольше не умирал и побольше тратил на лекарства!

— Иди переоденься и пока чаю выпей — ты же там промёрзла до костей.

— Угу.

Вера наклоняется и смотрит на пищу за стеклом духовки. Верино лицо кажется мне таким спокойным и строгим — хоть иконы пиши. Каштановые волосы выются нимбообразно. Глаза ясные. Лоб открытый. Лицо — главное её достоинство. Фигуркой-то её Бог наградил не очень. Плечи узковаты, а задница уж слишком мощная. Образ жизни сидячий, да ещё и выпечкой балуется.

Вера живёт главным образом в интернете. Там ведь общаешься с никами, а не с людьми. Она вообще не очень-то любит людей — быть может, поэтому мы с ней и уживаемся.

Вера — журналист-фрилансер, пишет статьи для разных порталов. Обычно в том духе, что не надо опускать руки, борись и побеждай и т.п. В общем, сподвигает жирных худеть, а сама жрёт и жрёт, призывает курильщиков бросать сигареты — сама дымит как паровоз, убеждает замкнутых больше общаться, а сама не выходит из дому неделями. Такая вот моя Вера.

9

Возможно, там было много вас, детей в холщовых сероватых рубашках, — детишки в белоснежном учатся в другом классе. Ты сидела за своей партой — худая, неуклюжая, с застывшей улыбкой на губах и ужасом ожидания в глазах, и барабанила холодными кончиками пальцев по столу — да, там тоже плохо топят. На всю вечность тепла не хватает, увы.

Рядом с тобой сидел, расслабленно откинувшись на спинку стула, рыжеватый парниша в веснушках. Он с ленивой мудростью успокаивал тебя:

— Расслабься. Всё идёт нормально. Сейчас пару судеб огласит — их забраковали в классах повыше, но мы с тобой ещё не первые в очереди, скорее всего, пронесёт. Мне тут сообщили знакомые — в этот раз фигня полная, что-то там с разведёнными родителями, сомнительными талантами и полным попадцем с баблом. На такое лучше не соглашаться, даже если эпоху будут обещать неплохую — запомни мои слова!

А учитель, сложив аккуратно за спиной свои серые крылья, словно зонт, достал несколько папок «Дело», открыл первую и принялся читать. И по тому, как все остальные втянули головы в плечи, словно мечтая стать черепахами и спрятаться в панцирь, — ты понимаешь, что никто не хочет туда — вниз, откуда и поднимается к вам на небо этот холод, от которого мерзнут руки. Никто не хочет лететь сквозь мокрые и липкие облака, прорываться из тьмы к свету, режущему глаза, вопить, раздирая внутренности плачем, ради того, чтобы получить отчуждённых родителей, неподдающиеся раскрытию таланты, пустые карманы и дегтярные вечера, когда тьма прижимается к стёклам ларька, как потный мужик к девушке в автобусной давке, а бегущие мимо электрички косятся безумными глазами...

И ты какого-то непонятого чёрта вскакиваешь и говоришь «Я!» Серый ангел захлопывает недочитанное дело и смотрит на тебя своими пустыми глазами, ничего не понимая.

А рыжеватый парень растерянно глядит на тебя, и его глаза говорят:

— А как же бабло? Ну ты ва-а-аще...

И ты идёшь, проваливаясь по колено в обла-

ко, подол рубашки уже мокрый, — идёшь и по-идиотски улыбаешься — ты так всегда делаешь, подписываясь на какой-нибудь очередной идиотизм. В этом — ты.

10

Вспомнила же про универ сегодня. Вот блин! Обо мне там уже забыли. Думаю, да. Надеюсь, что да.

Я долгое время думала, что вообще не умею любить. Словно при сборке в меня забыли вставить какую-то деталь. Из папки «Дело» выскользнул листок, когда серый ангел нёс её с более высоких небес. Листок упорхнул в неизвестном направлении, вот такая вот беда.

Я любила учиться. К одиннадцатому классу я разобралась наконец, почему мухи садятся на мёд, вдоволь наразмышлялась о брэнности всего сущего и стопорилась только при понимании собственной инаковости. А потом я поступила в универ.

Славный был день, когда я впервые вошла в нашу лекционную аудиторию и увидела всех этих девочек, сидевших там, галдевших, любопытствовавших, — таких всех славных и милых. Да, мне все тогда понравилась, я была так рада! Сколько потенциальных подружек! И было так легко, словно мы должны были вместе играть в песочнице, попутно, конечно, обсуждая прочитанные книжки. А потом я увидела, что здесь есть не только девочки.

Как это он затесался незаметным в эту весёлую девчачью компанию? Но он совсем был здешний — родной, не посторонний. Сублинный кареглазый мальчик с кудрявыми чёрными волосами и смешными маленькими усиками. Он всем очень приветливо и как-то подчеркнута вежливо улыбался.

И я села рядом и тоже улыбнулась. Мне казалось, что-то есть особенное и светлое во всём, что окружает нас, казалось, что неспроста я надела сегодня эту хорошенькую белую блузочку и волосы сколола крабом, что вот так и должно быть в этот чудесный сентябрьский солнечный день, все должны выглядеть так — хорошенькими и чуточку растрёпанными...

Я влюбилась.

Конечно, мои здоровые мысли никуда не уш-

ли, они просто были отодвинуты на край стола, а в его центр была водружена ваза с букетом горячих листьев. Я знаю, что листья холодные и часто мокрые, но тогда они горели, горели, горели... Жгли.

Да, всё так и было: от тепла — к жару, нестерпимому жару. Раскалилась. Бедные мои щёки. Это не могла быть утечка бензина. Откуда ему во мне взяться?

11

Вера режет пиццу на куски. Потом мы разрываем их и едим, растягивая удовольствие.

— Хочу провести эксперимент, — говорит она, — на людях.

— Ты бы лучше потренировалась сначала... на кошках, — с набитым ртом шучу я, и кусочек пиццы срывается с моих губ.

— На кошках не получится: их организм иначе устроен. Мне нужны люди. Для такого дела.

— Извращенка!

— Чай наливай!

— Так какой эксперимент ты ставишь?

— На сайте знакомств зарегистрировалась!

— Ты? Да ты что?

Вера откусила от своего куска столько, что у неё в руке остался только самый краешек — поджаристая золотистая каёмочка, и энергично закивала головой.

Я подождала.

Пережевав, она продолжила говорить:

— Хочу проверить теорию...

— Какую?

— Банальную: кто ищет — тот найдёт.

— Что найдёт? — Я отхлебываю чай, он такой горячий, что после глотка язык чешется.

— Что захочет — то и найдёт! В общем, фишка такая: я опубликую анкету, и всё. Никому писать не буду, просто будет анкета болтаться. Но при этом буду думать... серьёзно так думать, увесисто. Об отношениях, любви и всё такое. И посмотрю, кто мне напишет.

— Ты что? Американских книжек обчиталась? — Я не могла поверить в то, что Вера, такая насмешливая ко всем этим бабским штучкам, опустится до такого. — Ещё скажи, что ищешь вторую половинку.

— Иди в жопу. Какую половинку? Я хочу проверить степень крэйзанутости вселенной, понимаешь? Посмотреть на работу принципа «бойся своих желаний»! Ведь согласишься, если ты анализировала всё, что происходило в твоей жизни, ты заметила, что мечты, суки, таки сбываются, но так, что эта сбывча уже не радует: или не вовремя, или с каким-то подвохом. Я хочу посмотреть, какой же подвох будет на этот раз. Усекла? Я буду так думать, все нюансы учту, чтоб комар носа не подточил! Я хочу поставить этой пакостной заразе хитрую задачу...

— Круто. — Я понимала, о чём говорит Вера, но сама идея того, что мир примет её вызов, казалась мне бредом. — Только я думаю, что ничего не получится.

— Мне никто не напишет?

— Напишет. Почему... Ты же красивая. Только это ничего не будет значить. Это будет бессмысленное событие. Без подвоха, без чего бы то ни было.

— Не-а. Я уверена, что всё получится. Вопрос только во времени. Знаешь, даже Богу не просто будет подкинуть подходящую свинью. В том смысле, что свинья должна быть... соответствующая.

— У тебя завышенная самооценка.

— А у тебя на свитере кусок гриба. И поставь ещё чайник.

Когда мы засыпаем, Вера вдруг спрашивает:

— Можешь дать мне совет?

— Нет. Я дам тебе бесплатно, а ты перепродашь.

— А тебе жалко?

— Обидно. Чувствую себя лохом.

— Говори себе: «Я первосортный, высококачественный лох», — и сразу станет легче!

— Спасибо за подсказку!

— Из «спасибо» шубу не пошьёшь, то есть статьи не напишешь. Мне нужен совет.

Я смеюсь:

— Ну, стерва! Спрашивай!

— Что ты делаешь, когда тебе не с кем поделиться... Когда некому рассказать о своих переживаниях? Девчонка переехала за границу, чувствует себя одинокой. Надо что-то ей посоветовать.

— Пусть снимет квартиру пополам с подругой. Я так сделала.

— А я думала, тебе просто не хватило денег, чтобы снимать жильё одной.

— И это тоже.

— А раньше?

— У меня были друзья.

— И никаких особых приёмчиков? Ты меня разочаровываешь, детка!

— Увы, я банальна.

— Не верю.

— Не верь. И почему я должна помогать этой девчонке... за границей? Ей там наверняка лучше, чем мне...

— Лучше, хуже... Не увливай! Давай колись.

— Не хочу и не буду!

— Всё так серьезно?

Я вижу, что Вера приподнялась на локте и глаза её азартно блестят.

— Не лезь в душу, — выдавливаю я, отводя глаза.

— Кому оно надо!

— Да уж, конечно, тебе только бабло надо!

— Слушай, иди ты. Вообще не думаешь своей башкой, что говоришь! — Вера встала с кровати. — Такое впечатление, что я попросила твои голые фотки для публикации в инете!

— Прости. Я псих. Просто псих. Долбанутая...

— Я понимаю, что обидела её своим недоверием, да ещё и про деньги некстати сказала.

— Хватит уже себя с грязью мешать! Противно слушать!

Вера встала, прошла на кухню и включила свет.

12

Мы с ним возвращались из универса под ручку. Шли под одним зонтом.

Я рассказывала что-то о своей жизни, о том, что отец ушёл, о маме, которая одна и которую надо поддерживать... И он, мне казалось, слушал, потому что лицо у него было такое задумчивое, словно он доказывал в уме какую-то теорему всеобщего счастья, чтобы потом поделиться со мной решением. А я чувствовала себя очень счастливой.

Одна девушка, из числа тех, вместе с которыми я училась, быстро прошла мимо нас, а затем

оглянулась и пропела: «Я выйду замуж за еврея, пусть что угодно говоря-а-ат!» — и побежала дальше.

А я совсем не обиделась, мне даже показалось, что она чертовски милая, эта высокая и крепкая девушка с широким красным лицом, одетая в чёрную короткую куртку и белую вязаную шапку с большим помпоном. Такой огромный ребёнок.

И мне ужасно понравилось, что он покраснел. Но я сделала вид, что ничего не вижу.

А когда мы прощались, мне ужасно хотелось поцеловать его, но я думала, что он сделает это первым, а он стоял и всё. Тогда я сказала: «Посмотри-ка, у тебя верхняя пуговица держится на соплях!» — и потянула её к себе, пуговица осталась у меня в руке, и я принялась смеяться как сумасшедшая. Он тоже смеялся со мной за компанию, а потом протянул руку, и я вложила в его ладонь оторванную пуговицу, а он сказал:

— Мама пришьёт.

13

— Вера...

Она сидит за столом и курит.

У неё ночная сорочка такая длинная, белая — в ней Вера похожа на привидение из старинного замка. Привидение из старинного замка курит на кухне в хрущёвке. Почему бы нет?

— Ты что, сердиться?

— С чего бы? — она поворачивается и спокойно смотрит на меня. — Просто ты странная. То открываешь, а то выкидываешь такие... финты ушами.

— Прости.

Я села на табуретку. Она была ужасно холодная, поэтому я тут же приподнялась и устроилась чуть по-другому, подвернув под себя ногу. Так было тоже холодно и неудобно, но вставать я не стала.

— Когда мне было очень плохо... Это было долго, несколько месяцев. Я знала, что долго жаловаться нельзя, что надо пережить и забыть, но не пережила и не забыла... Я делала вид, что всё хорошо, училась, общалась с друзьями, только с мамой стала говорить гораздо меньше. Я не могла. Что-то перекрывало, как пробка. Пробка, которую пытались вбить внутрь бу-

тылки, а она застряла посреди горлышка... Знаешь, так бывает, когда нет штопора и используют карандаш. А по вечерам, когда в доме становилось совсем-совсем тихо, я садилась на кровать, придвигалась к стене, прижималась к ней лбом. Представляла, что там, за стеной, в маленькой тесной комнатке на табуретке сидит человек, который меня слушает. Я отчётливо видела его спокойное лицо, прикрытые веками глаза, мягкие ресницы и едва заметную улыбку. И я — внутри себя — рассказывала, что полдня раскладывала пасьянс и каждый раз хотела, чтоб пиковый король лёг рядом с червовой дамной... что удрала с занятий и написала в хлам с подругой, у которой осталась ночевать... что ужасно нахамила маме, придя домой разбитая и злющая как чёрт. А человек за стеной только слушал меня и ничего не говорил, но я почему-то верила, что даже после всего этого он не считает меня сволочью...

— И боль прошла?

— Нет. Просто однажды я решила, что верить в то, что кто-то за стеной тебя слушает, — это просто шиза. За стеной — ветер, дождь, снег и ничего больше. А потом я бросила универ и наткнулась на твоё объявление. Ты из плоти и крови — это не может не радовать. По крайней мере, теперь я не схожу с ума.

Вера затушила окуроч:

— Хороший способ. Быть может, стоит сойти с ума до конца, чтобы избавиться от боли?

Я встала, подёрнула ногой, которая слегка затекла.

— Нет, Вер, за стеной только холод, ветер и безнадежный свет фонарей. И нет даже бабочек, чтобы на этот свет лететь. Зима, хуле.

14

А потом он дал мне тонкую тетрадь со своими стихами. Они были написаны очень ровно, без исправлений и зачёркиваний, и все строчки стояли ровненько друг над дружкой, словно детсадовцы, которых тщательно выстроила по парам воспитательница.

И я читала эти стихи, в которых он недоумевал и жаловался на мир, унывал и отчаивался, иногда радовался хорошей погоде и мамину чудесному пирогу.

А потом там было стихотворение о любви... И я почему-то сразу, прочтя первые строки, подумала, что здесь что-то не так. Я сразу поняла, что меня так любить нельзя, невозможно. Это была какая-то совсем другая любовь, которая никогда не бродила одна по осенним улицам, не дышала на озябшие пальцы и не отряхивала в подъезде зонтик, тихо ругаясь про себя, потому что вся обрызгалась...

Он меня не любил. Нет, он любил другую. И я заметила, что последняя строфа — акростих, в котором зашифровано её имя. Да, я её знаю... Хорошая девочка. Да, быть может, она тоже ходит... дышит... и далее по тексту, но уж точно никогда не ругается. По крайней мере, так, как я.

Когда он спросил, что я думаю по поводу его стихов, я ответила:

— Думаю, вы хорошая пара.

А он ответил:

— Я знал, что ты догадаешься. Ценю твой ум.

— Я мисс Марпл, — пыталась пошутить я. — Хотя мне всего восемнадцать, на самом деле я очень-очень старая дева, — и дальше заговорила о чём-то другом.

— Я не знаю, что тебе сказать, — вдруг начал он.

— Так и не говори, — оборвала я. — Всё в порядке.

Хуже всего было то, что он тоже догадался. Потому что был не глупее меня, нет, не глупее.

15

Моя сменщица Ирка научила меня многим вещам, но главной из них было умение материться под прилавком.

Приходит какой-нибудь ***** и начинает: покажите мне то, покажите мне это. Ты прыгаешь по всему ларьку как ошпаренная жаба, то с одной витрины товар снимешь, то с другой, а ему всё не то. И под конец непременно скажет что-то в духе:

— А нет ли у вас смаленой савы¹?

И ты ему так с улыбочкой:

— Есть, конечно, подождите секундочку!

А сама садишься за прилавок на корточки, делаешь вид, будто что-то ищешь, и:

— *** тебе! Стой, жди, **** *****!

И шебуршишь там как можно дольше. А потом встаёшь и говоришь с той же улыбочкой:

— Извините, совы закончились!

Мороз научил меня другому — танцам. Зимой, по утрам, когда я открывала ларёк, холод набрасывался просто со звериной лютостью. И тогда, пока маленькая печка обогревала мой приют, я включала радио и начинала танцевать. Эти полчаса, пока старый **р ещё не подвёз свежие газеты, а народ не потянулся на станцию, были для меня временем танцев. Я изобрела свой неповторимый стиль, состоящий из скурых движений, — а в трёх толстых свитерах и синтепоновой жилетке руками не помашешь, да и не стоит — можно сбить что-нибудь с витрины, пространства-то свободного мало. Но я как-то умудрялась извиваться всем телом, задействуя мышцы, какие только могла. Нужно было заставить кровь двигаться быстрее, нужно было согреться. Давай, давай, детка!

Мужик, приходивший на остановку раньше всех, — я не запомнила его лица — он отпечатался в голове как слегка сгорбленная фигура — наверное, видел мои выкрутасы, по крайней мере, что-то в его облике говорило мне об этом, — но никогда не подходил к ларьку слишком близко. Заметив его, я всегда прекращала танцевать и принималась поправлять товары, делая вид, что ужасно занята. А потом появлялся и босс с газетами, потихоньку начинали тянуться к окошку люди. День начинался...

Вечерами особое беспокойство обычно причиняли малые. Они возвращались со школы целыми табунами и часто осаждали моё бедное пристанище. С громким рёвом, разогнавшись, они всей толпой ударялись в стену ларька, раскачивая его так, что с витрин падал товар. Ирка всегда с ними воевала: хватала лопату для уборки снега, выбегала на улицу и угрожала разбить недоделкам головы, но мне совсем не хотелось повторять её «подвиги». Мой маленький кораблик переживал этот шторм, чтобы плыть дальше по бурному людскому морю.

Малолетки научили меня посылать мир по-дальше, как бы он ни старался меня достать.

¹ Смаленая сава — фразеологизм из белорусского языка.

16

Толик всегда звонит не вовремя, впрочем, чему удивляться — на то он и Толик.

Обычно он предлагает куда-то выдвинуться с его друзьями, чтобы в очередной раз жестоко ужраться водкой.

— Привет!

— Здорово! ...Возьмите, пожалуйста, сдачу!

— Слушай, мы на хате у меня собираемся, приходи, а...

— Да я завтра работаю. ...»Стори» нет, есть «Биография» и «Интервью». Будете брать?..

— Приходи, там неплохие ребята будут. Ёж, у которого своя группа, Рубанок с новой девушкой, Жека-Погремушка...

— Не знаю я, мне рано вставать надо...

— Да интересно будет, Погремушка стихи свои прочтёт...

— А во сколько собираетесь?

— Подходи после восьми...

— Ладно, я подумаю. ...Вам леденцы с каким вкусом? Есть клубника, малина, ананас... Я перезвоню, пока.

17

Сборище творческих алкоголиков, наверно, одно из самых унылых сборищ, какие только можно представить.

Аромат гниющих мозгов заполняет комнату за считанные секунды, а мы сидим не менее полчаса и уже пропустили по две рюмки каждый. Народ благоухает вовсю.

Рубанок привёл свою девушку — крашеную брюнетку с серьгой в виде крошечного скорпиончика в ноздре. Она мало пьёт и держится как-то застенчиво. Ёж хмур и отчаянно критикует мироустройство. Погремушка машет руками, перебивая Ежа, и пытается с ним спорить:

— Ты не прав, брат, вот не обижайся, но ты вообще ни разу не прав!

— Ты вникни, вникни сначала, а потом ори!

— Твой нигилизм устарел ещё со школьных времён, вот поверь. Всё это, извини за выражение, ***** полнейшая! — Для убедительности Погремушка трясёт своей кудлатой головой, а девушка Рубанка незаметно отодвигает от него тарелку, на которой разложены бутерброды.

У нас сегодня хорошая закуска: пять бутербродов с колбасой и пять с сыром. Кто-то забыл посчитать себя, когда готовил. И ещё есть маринованные грибы и огурцы-помидорки.

Ёж смотрит исподлобья и пыхтит, оправдывая своё прозвище. Он ужасно смешон в гневе, все знают это, даже он сам. Из-за этого над ним часто подтрунивают — просто чтобы поржать — и на щеке у Ежа глубокий шрам: кто-то когда-то рассердил его по-настоящему, и он затеял драку.

— Несовершенство мира является причиной возникновения творчества, — неожиданно изрекает Ёж, буравя взглядом Погремушку. — Ничто в мире не заслуживает сохранения, всё стоит пересоздать заново. Чтобы всё было правильно. Раз и навсегда.

— И книги все переписать? — не унимается Погремушка.

— Зачем переписывать? Написать новые! А старые будут не нужны просто.

— То есть твои песни — это такие песни, после которых даже «Битлз» будут не нужны? — Погремушка взмахнул рукой и чуть не перевернул бутылку.

— Э-э, аккуратно, поэт! — деловито вставил Рубанок, поддерживавший бутылку свободной рукой (другой он приобнимал свою девушку). — Уважай водку-матушку!

Девушка Рубанка улыбнулась и что-то прошептала ему на ухо, а затем уткнулась носом в его шею. От Рубанка сегодня пахло хорошим одеколоном, и свитер на нём был новый — по крайней мере, судя по тому, что до этого он полгода ходил в одном и том же.

— Слушайте, ребята, я тут сижусь-сижусь и не могу вспомнить, что я забыл сделать, — неожиданно оживился Толик.

Все посмотрели на него.

— И только сейчас понимаю: Рубанок же постригся, а леща я ему не прописал! — с этими словами Толик подскочил к другу и ловко стукнул его по затылку.

— Ну тебя, идиота! — бормочет Рубанок, пока все хохочут. Погремушка снова чуть не опрокидывает бутылку. — Так, ребята, допиваем, пока он нас не погубил!

Толик сегодня на разливе.

— Ну, за что пьём? — спрашивает он.

Все уже подняли рюмки, то есть я, Толик и девушка Рубанка, — пластиковые стаканчики, сам Рубанок — гранёный стакан, Ёж — старую кружку без ручки, Погремушка — кофейную чашечку от сервиза. Посудой квартира Ежа не изобиловала.

— За искусство, — говорю я. — За всё в целом и парикмахерское — в частности.

— Рубанок, молодец, что постригся. Молоток ты, Рубанок! — восклицает Толик.

Все снова смеются, а когда рюмки уже пусты и бутерброды с колбасой съедены, причём Погремушка с Ежом поделили один пополам, Толик вдруг возмущённо вскрикивает:

— Ёлки, всё ты, Людка, сбила, не по правилам пьём! Третий же тост — за любовь!

— Толян — романтик! Смотри-ка! — радостно визжит Погремушка. — Ничего, пусть первая у нас будет вне счёта. Как бы за скобками.

Народ замирает с вытянутыми лицами.

— Погремушка, ты великий, твою мать, математик! — наконец торжественно изрекает Рубанок. — Отличное решение: первая — за скобками! Тебе полагается премия: скушай грибок!

Девушка Рубанка своей вилкой достает из тарелки гриб и протягивает через стол Погремушке. Тот пытается ухватить его губами, гриб соскальзывает и плюхается на стол, накрытый старой клеёнкой.

Все снова смеются. Толик тем временем достает очередную бутылку и разливает водку.

— За любовь! — провозглашает он и залпом опрокидывает свой стаканчик.

Беру с блюда бутерброд с сыром и протягиваю ему:

— Закуси. А то ведь проберёт скоро.

— Угу, спасибо! — Толик начинает жевать с видом ужасно голодного ребенка.

— А любовь — полная *****! — неожиданно отрезает Ёж.

Погремушка набирает воздуха в лёгкие, чтобы спорить, но вдруг увесисто отрезает Рубанок:

— Для того, у кого с ***** проблемы, так оно и есть!

Толик давится бутербродом, Погремушка взмахивает крыльями, опрокидывает бутылку и ловит её на лету, я смеюсь до слёз, а девушка Рубанка просто сияет от счастья. А он сам, видя, как багровеет Ёж, добавляет:

— Здесь ведь таких нет, мужики, ведь так? Мы все ого-го! Выпьем за нас! Наливай, Толян! Всё хорошо, Ежище, мы тебя уважаем! Тебе не везло с бабами, но ты хороший мужик!

Все кивают и снова пьют. Потом Погремушка начинает читать стихи, которые, по его словам, не совсем понятны, так как они словесные формулы, объясняющие суть мира.

Ёж снова с ним спорит и говорит, что стихи никак не могут выразить сути, потому что в них есть только слова, другое дело — песни, синтез музыки и стихов. У него, Ежа, вообще есть уникальный проект — песни, программирующие реальность. Так что Погремушка со своими стихами-формулами просто позапрошлый век! Погремушка кипитится, спор накаляется, и Рубанок, чтобы успокоить компанию, предлагает ещё выпить.

Машинально вливаю в себя водку, беру с тарелки последний бутерброд с сыром, снимаю прилипший к маслу волос Погремушки. Ем.

— Ребята, а я ведь когда-то тоже таким был, — слышится рядом голос Рубанка. — Я на филфаке учился! Да, даже кое-что помню: окс-ю-юморон! Сочетание несочетаемого!

Я слышу, как смеются девушка Рубанка, Толик, Погремушка и даже Ёж. Смотрю на оставшийся в руке кусок бутерброда и чувствую, что внутри что-то медленно, но верно поднимается вверх.

Я встаю и хочу идти как можно быстрее, но ноги не слушаются, я несколько раз спотыкаюсь, меня кто-то поддерживает — Толик? Ёж? — и я таки добираюсь до туалета. Чёрт, немного мимо. И свитер испачкала. Я встаю и прислоняюсь к раковине. Открываю кран, умываюсь, начинаю замывать пятно. Тру-тру-тру... Чувствую на себе чей-то взгляд или что-то похожее на взгляд — какой-то интерес, что ли. Поднимаю взгляд: из зеркала пустыми глазами смотрит лицо с прилипшими ко лбу прядями мокрых волос. Я смотрю на это лицо как на лицо покупателя в ларьке — совершенно чужое. Сейчас оно постучит...

— Всё нормально?

В дверях стоит Толик.

— Я д-домой!

— Мы тебе на кухне постелем!

— Н-нет, — я мотаю головой. — Д-домой!

— Люд, ты не стесняйся, все свои! — кричит из комнаты Рубанок.

— Н-нет! Я с-сама пойду...

— Да я отведу тебя, подожди! Где твоё пальто?

— Д-до свидания, ребята. Рада б-была всех вас видеть. Приятно п-познакомиться, — говорю я девушке Рубанка, хотя не помню, как её зовут.

И, падая на кровать — дома, дома! — я говорю Вере:

— Скажи мне завтра, что я дрянь... п-пожалуйста...

18

— Вот дрянь, а!

— Ы-ы-ы!

— Ты будешь вставать или нет? Твой будильник полдома поднял! — Вера колошматит меня что есть силы.

Я еле разлепила глаза. Голова жутко болела. Поднявшись с кровати, я побрела в ванную умываться.

О нет, сегодня ещё хуже...

Я пью кофе, стараясь не думать о том, что произошло. Очередной пьяный вечер. Ну, бывает. Пора на работу.

Выхожу из дома, ещё не рассвело, бреду, путаюсь ногами в полах пальто. Ночью подморозило. Под ногами потрескивает лёд.

Я понимаю, что когда-нибудь стекло так же треснет, и моё место в этом мире навсегда займёт существо с пустыми глазами. Стекло стало совсем тонким. И, быть может, это последняя мысль в моей голове, потому что перед смертью в самый последний момент всё-таки осознаёшь, что умираешь.

— Не сегодня, — шепчу я, — пожалуйста, не сегодня.

И стараюсь идти быстрее, и страшно радуюсь, отперев ларек и включив радио. И я танцую, танцую, хотя сегодня точно уверена, что тот сгорбленный мужик смотрит на меня. Плевать.

Я ухожу от этой черты, — ухожу и больше никогда к ней не подойду. Я не хочу за тёмное зеркало в старой ванной комнате, где пахнет мочой и водятся пауки.

19

Перед Новым годом Толик куда-то пропал. Долго не звонил и не писал, я даже начала беспокоиться.

Старый **р поехал на рынок и привёз целую гору нового товара. Обычно, когда я начинаю разбирать привезённое им барахло, моё лицо приобретает выражение тихого отчаяния. Как мне это продавать? Как? Китайские игрушки в виде непонятных животных, убогие статуэтки, заколки, которые разваливаются в руках, и резинки — стоит их растянуть, больше не возвращаются в исходное положение.

— Люда, там, в сумке, бугиди возьми!

— Что?

— А ты не знаешь? Бугиди — на волосы вертеть!

Достаю со дна упаковку бигуди. Пишу в накладной: «бугиди» и ставлю рядом цену.

На дне сумки с товаром лежит апофеоз всего этого «богатства»: пятьдесят — о боже! — да, пятьдесят идиотских пластиковых палочек со звёздами на конце.

— Эт валшебный палачка — самый хадавой товар! — говорит старый **р и достаёт это чудо техники из сумки. — Нажимаешь на кнопачку — светится! Красата! — он тычет светящейся звездой мне прямо в лицо.

— Я взял пятьдесят таких. И ещё — в другой сумке...

В другой сумке оказалось ещё двадцать палочек со Спанч Бобом на конце. Капец. Я буду их продавать до конца жизни. И даже в аду.

Мне кажется, во всем мире нет ни одного человека, которому бы понадобилась светящаяся палка со Спанч Бобом. Предлагаю хозяину:

— А давайте эти поставим по тридцать?

— Пачему тридцать? Пятьдэсят!

Выгружаю своё проклятие в коробку, вешаю образцы на витрину, подписываю ценник. Волшебство начинается!

Когда шеф уезжает, появляется Сашка. Сильный от холода, но довольный.

— Я тут вроде другую работку себе подыскал. Может, устроюсь грузчиком на рыбзавод.

Наливаю ему кипятку в кружку, кладу чайный пакетик и достаю сникерс из коробки:

— Жуй!

— Ой, не надо, Люд, в прошлый раз как-то мне нехорошо было... Полдня просидел у Ивановны.

— А мне нормально. Возьми там из ящика снизу солёную соломку. От неё точно ничего не будет.

— Спасибо.

Он прихлёбывает и улыбается. Сашка милый. Пожалуй, если б не какое-то совсем уж дураковатое простодушие, его можно было б назвать симпатичным. Глаза у него очень синие и ясные. Может, у Ирки тоже были такие же, но водка вымыла этот цвет до какой-то убогой голубоватости.

— Как твоё семейство?

— Ленка-то? Грызёт меня. Говорит: «Дура я, связалась с малолеткой». А мне-то уже двадцать три! Ничего, вот оформят меня на работу, скажу ей — будет подарок на Новый год.

— Маринке-то что-нибудь брать будешь? Кукла всё лежит...

— На куклу денег пока нет, но... надо чем-то побаловать. Давай я ей эту... волшебную палочку возьму... Пусть пока поиграет, а как расчёт здесь получу — за куклой забегу. Ага, давай мне с этим... с человечком... Ух ты, эта палочка ещё и светится, прикольно!

Аллилуйя! Возможно, я таки их распродам до второго пришествия!

— Отличный подарок, — говорю я ему. — Исполняет желания.

— Вот и отлично. Парня твоего видел недавно. В круглосуточном магазинчике, вон в тех дворах...

— Водку, наверно, брал. С него станется.

— Не знаю. Ладно, побегу, может, что и продам сегодня.

Сашка, да благословит тебя Великая Торговая Удача, святой ты человек!

20

Вера весь вечер сидит в скайпе. Мне даже как-то обидно.

Она говорит по-английски, а значит, я почти ничего не понимаю. Хотя я не очень-то хочу слушать. Не потому, что подслушивать плохо, а просто потому, что мне это неприятно. Неприятно и всё тут — не знаю почему.

Я смотрю на своём компьютере мелодраму, ко-

торая мне уже перестаёт нравиться. Меня всегда хватает где-то на три четверти фильма. Пока у героев всё плохо, они страдают, им можно сопереживать и даже находить что-то общее с собой, хотя на самом деле этого общего почти нет. Но как только у них начинается налаживаться жизнь, я тот фильм закрываю и запускаю другой.

Иногда — когда актёры играют не так плохо, как обычно, — даже капаю слезами на клавиатуру. Но когда на часах показывает 23.30, выключаю компьютер и иду спать. Вера теперь час-то ложится раньше меня, хотя она любила засиживаться в интернете за полночь.

В комнате накурено, хоть топор вешай. Мне так даже нравится. Горько дышать, но это подтверждает, что Вера здесь.

О её собеседнике я знаю мало. Он англичанин. Чистокровный англичанин. Художник. Кудлатый и бородатый. Ему за сорок, живёт где-то в провинции, в частном доме, рисует комиксы. Вера рассказывала, что он много лет работал в каком-то унылом офисе и развлекался тем, что в свободные минутки придумывал и рисовал на жёлтых стикерах вымышленных животных, разных непонятных чебурашек и зубастиков, которым придумывал названия и повадки, а потом и среду обитания. Однажды он увидел, что этими стикерами залеплена вся стена его комнаты, и подумал: «А о чём они разговаривают между собой, когда меня нет?» И стал рисовать комиксы. Теперь он зарабатывает на жизнь этим. Эксплуатирует несчастных зверей, о которых никто не замолвит словечко в обществе защиты вымышленных животных.

Сегодня, когда я захожу в комнату, Вера не спит.

— Знаешь, сегодня я сказала Фрэнку... что-то в своём стиле... очень злое...

Вопросительно смотрю на неё.

— Он смеялся так добродушно, как будто я смешно пошутила.

— Может, он не понял, что это была не шутка?

— А может, это и была шутка?

Вера смотрит на меня: в глаза её цвета крепкого чая, кажется, добавили сахар.

— Если только вся жизнь — шутка, — говорю я, забираясь под одеяло. — И смерть тоже.

— Жизнь — это... А что, забавно было бы сле-

лать такую жвачку с фантиками «Жизнь — это...» Прибыль бы пошла...

— Деньгоголик. Я бы сказала, что жизнь — это тоска.

— Не хочешь уйти из ларька?

— Нет, пока мне и там хорошо.

— Что-то не видно, — Вера качает головой. Видела бы она себя со стороны. Училка!

— Смотри внимательней.

— Ну, твоё дело. Давай спать. Спокойной ночи!

— А раньше последнее слово в перепалках было за тобой!

— Я просто устала. Голова болит.

— Может, стоит меньше курить в комнате?

— Стоит. Я попробую бросить.

— Отлично. Я что-то не хочу спать. Пойду что-нибудь съем.

Бреду на кухню. И сижу там долго-долго, почти до утра. Мне плевать, что на работе я буду валиться с ног и обсчитывать то покупателей, то себя.

Я заполняю анкету на сайте знакомств. Правда, мне придётся ограничиться русским, по-английски я не говорю. Но что поделаешь...

21

Да, чудеса случаются. Особенно под Новый Год. Волшебные палочки продавались! Даже со Спанч Бобом расхотелись на удивление неплохо — как оказалось, его слава достигла здешних мест. А может, он был просто жёлтый и весёлый, и этого было достаточно.

— Какую же взять для моего Серёжки? — спрашивала продавщица из колбасного. — Со звездой или с этим человечком?

— Берите со звездой, с человечком ему уже Ивановна взяла!

— Ох, — женщина вздохнула, — Ивановна... Как она меня задолбала уже... Не оторвать её от Серёжки. Он уже на Колю отзывается. Хоть из города уезжай. Давайте со звездой, что ли...

Я нажимаю на кнопку:

— Видите, вот тут нажимаем, и она светится.

Но лицо у женщины такое потухшее, что я понимаю: эта дурацкая палочка вряд ли ей поможет.

Вечером пожаловали психи. Им в честь праздников отвалили аж по пятисотенной. Выстроились они аккуратной очередью — человек десять, и все — одно и то же:

— Это! — и в палочку тычут.

Я объясняю, куда жать и что делать, а у них аж физиономии светятся. Ну а потом давай палочками махать, смеются, бегают вокруг ларька. Лица, конечно, совсем не ангельские, отсутствие разума-то ой как видать... Хотя, может, какой-нибудь бог потихоньку рисовал вот таких «ангелочков» — и клеил стикеры на стену... А потом решил: чего ж добру-то пропадать?

Спотом валит, я почти ничего не вижу из своего ларька, кроме изредка вспыхивающих звёзд от волшебных палочек. У меня слипаются глаза. Нельзя спать, уже вечер, скоро придёт старый **р за выручкой. Придёт и постучит... А я могу и не услышать, потому что крепко сплю. Нельзя спать. Я же еду в электричке, колёса стучат и стучат, а мне так хорошо, хотя я еду сама не знаю куда. Всё равно нельзя проспать, а то проеду ещё... Краем глаза я вижу, что напротив меня сидит мужчина. Не могу его рассмотреть, но чувствую на себе его взгляд, он словно видит меня насквозь, словно я не человек из плоти и крови, а полупрозрачный призрак. И это меня ужасно смущает — что он меня видит, а я его — нет. В конце концов, это нечестно. Стараюсь ухватить его образ, но глаза у него такие чёрные, такие, что ли, сильные: я никак не могу пробиться в него, — никак, но чувствую, что он улыбается, ощущая свою власть надо мной.

— ...Люд, ты откроешь мнэ или нэт?

Я чуть не сваливаюсь со стула. Всё-таки заснула.

Открываю дверь, виновато выслушиваю ворчание Фихерата.

— Спишь и ничего не слышишь! А если покупатель? Устал, что ль?

Я пожимаю плечами, что значит «сама не знаю, что на меня нашло, уж вы простите».

— Вот ты хороший дэвушка, Люд, но такой сонный... Всигда сонный! Нэльзя такой быть: пакупатель не будет, дэнег не будит, мушцин тоже не будит! Надо быть шюстрый, тогда всё будит, всё! У нас в семье три ларька, три! И всё успеваем! Шюстрый! Держи, к празднику тебе канфэт! Я пабэжал, ещё в другом мэсте надо выручку принять! А ты не спи, тебе ещё полчас. Потом закрэшь, и — на праздники!

Вот ведь гад — думала, хоть отпустит пораньше. Сон уже не шёл. Покупатели тоже.

Впрочем, ещё одного Спанч Боба удалось втоухать какому-то мужику, который просто хотел разменять тысячу.

22

Новый год я встречала с мамой. Мы просто договорились не поднимать трудные темы, поэтому сидели и молчали.

— Почему ни ты, ни твой отец никогда не объясняете своих поступков? — наконец спросила мама.

— Может, мы сами не знаем их причины, — ответила я.

Или просто вместо нас наши поступки совершают какие-то другие силы — извне?

23

Я знала, что он будет провожать до дома другую девушку и что она, эта девушка, совершенно не любит его, даже высмеивает. Сама слышала, как она потешалась над его внешним видом. Я стояла рядом с ней и её подругой, когда они разговаривали, и всё слышала.

И тогда, в тот день, я увидела, что он оставил на парте шарф, свой длинный, серый с чёрным шарф. Не знаю, что нашло на меня: я схватила его и бросилась вслед за ним. Помчалась вниз, в холл, по крутой лестнице со второго этажа, я налетала на преподавателей и студентов, сбивая их с ног, кричала:

— Стой, подожди! — размахивая шарфом как флагом.

А когда настигла его внизу, то просто протянула эту забытую вещь, задыхаясь и лепеча:

— Вот... ты забыл...

— Спасибо. Но это не моё. Он там ещё до нашей пары лежал. Сдай на вахту.

И все, кто был в холле в этот момент, тарасились на меня: и он, и та девушка, с которой он потом ушёл, и мои однокурсницы. Мне было так стыдно и противно, как никогда в жизни. Я стояла с непонятно чьим шарфом в руках и не знала, куда его девать.

Бывало, покупатели обзывали меня тупицей и тормозом, материли на чём свет стоит, но никогда я не читала в их глазах такой презрительной насмешки. Нет, никто не смеялся, но хва-

тило и одной ухмылки той толстомордой девачи, которая тогда пела песню про еврея.

Я две сессии сдала, а потом ушла.

Все забыли, а я нет. Каждый день я его видела, уже не с той девушкой, а с другой — вообще не с нашей специальности. Он как-то быстро сообразил, что та его действительно не любит, и нашёл другую.

Про меня даже не подумал.

Не могла я этого видеть. Говорят: помогает время. Но время проходило сквозь меня, как через дуршлаг.

И как такое маме расскажешь?

Я вот историю отца даже знать не хочу. Там, наверно, тоже что-то такое, чего никто не поймёт.

24

А потом ударили холода. И выяснилось, что до этого вообще была не зима. Стало как-то на самом деле не очень хорошо.

В ларьке Ирка прилепила к стеклу бумажку с надписью «Укутай колу!» Это значило: уходя, Люда, не забудь аккуратно накрыть банки с коллой своей синтепоновой жилеткой. А иначе — бум, большой бум — банки разорвёт от холода, что бывало уже не раз.

Впрочем, самое худшее уже случилось: лопнула бутылка одеколона «Саша». И это был один из самых ужасных дней за всю мою здешнюю «карьеру». Нестерпимо болела голова, и я даже опасалась, что уйду в те заповедные края, где гуляют психи, размахивая волшебными палочками.

Но и тот день я как-то пережила.

Полный пэ пришёл, когда я потеряла варежки. Купить новые было проще простого: на станции одна бабка торговала неплохим самовязом, но я почему-то упёрлась.

— ...Ну чего ты мучаешься, дура? — сердито ворчала Вера. — Перед кем выпендриваешься?

— Просто так, — пожимала я плечами. — Накатило.

Я уже не злилась на Веру, как-то вся злость на людей и мир отступила, как будто, испугавшись холода, заперлась в моем сердце и решительно настроилась никуда не выходить.

— Блин, несносная ж ты личность... — Корчу

смирненческую гримасу. — Да уж, — покачала головой Вера. — Бог всех испытывает. Одним даёт бедность, другим — богатство, третьим — какие-нибудь болячки, а четвёртым — просто поганый характер. И последнее испытание в чём-то гораздо сложнее прочих. По крайней мере, я не встречала тех, кто его прошёл.

— Думаешь, я кого-нибудь убью в итоге?

Вера улыбнулась и лукаво подняла бровь:

— Вряд ли. Но на понт тебя брать не стану, а то мало ли...

— Ничего, я от тебя передачек в тюрьме ждать не стану. Можешь спокойно в Англию уезжать.

— Люд, да брось, — она пытается меня утешить. — Неясно ещё ничего. Что ты так взъелась?

— Прости. Пойду я.

— Я, может, никуда и не уеду.

— Да уж лучше уезжай. Будь счастлива и всё такое. Может, если ты из-за моей спины не будешь высовываться, когда я в скайпе сижу, так и меня кто-нибудь куда-нибудь позвёт. А так все только тебя зовут!

— Ох, боже, дался тебе этот дурак! Забудь ты.

— У меня память как выключатель у нас в туалете: или не включить, или не выключить.

Трудно забыть. Почему, когда Вера решила поиграть со вселенной, ей — пожалуйста: девятноста кэга счастья да ещё с бородой, — а как я, так мне — какой-то дурак, который, увидев из-за моей спины проходившую по комнате Веру, стал допытываться, кто она такая и свободна ли, так что мне еле-еле удалось перевести разговор в другое русло.

Мало того, потом он мне ещё дважды писал и всё спрашивал о ней. Это как если бы я, сидя в крещенскую ночь перед зеркалом, загадала «суженый, ряженный, приди ко мне водку пить» (или что там?), а из зеркала бы выглянула чья-то физия и спросила: «Слы, а Вера где?»

На всех Веры не хватает, дорогой мой, дефицит это. Шиш тебе, а не Вера.

Ну и после мне на том сайте тоже какие-то дураки писали.

25

На металлических жалюзи, которыми мы закрываем на ночь витрину, намёрз лёд. Я

попыталась открыть одну из витрин, но ничего не вышло. Потянула изо всей дурацкой мочи, и жалюзи распались на отдельные пластины. Пришлось оставить витрину в таком виде до вечера. А на другой додумалась сначала растопить лёд, полив подогретой водой. Провозилась всё утро, но так даже веселее. Согрелась и без танцев.

Днём сбегала к колонке за водой, мороз пробирал немного, но ничего, терпимо. Нормально и без варежек — я крута, хуле. Но когда я уже стояла у двери ларька, руку вдруг ужасно свело так, что не удержала ключ и он выпал на землю. Пришлось шарить прямо в снегу, пальцы не хотели разгибаться. Ужасная, ужасная боль, даже слёзы показались на глазах, но тут же замёрзли. Наконец-то я подцепила ключ, кое-как воткнула его в замок и, надавив на него всем телом, открыла-таки дверь. И тут же, сев у тёплой электропечки, долго держала перед ней эти странные чужие руки, которые меня совсем не слушались. Настолько чужие, что я не удивилась бы, если б они схватили меня за горло и стали душить.

В окошко постучали. Это был Рубанок. Я никогда не подаю вида, что знаю покупателя, если он не здоровается сам.

Рубанок меня не узнал, даже не заметил.

— Два чёрных «Петра». Чёрных, как моя жизнь...

Он был неудачно выбрит. Если б я подозревала, что его руки грешат выходками вроде только что учинённой моими, я бы решила, что они его сегодня утром пытались зарезать или хотя бы сильно изуродовать.

Рубанок закурил, пробормотал в пустоту: «Я верен принципам филфака!» — и ушёл.

Наверно, какие-то проблемы. Толику мне, что ли, позвонить?

Ближе к вечеру пожаловал Сашка. Постучал в окно огромной ручищей в вязаной рукавице — Ленка на Новый год подарила.

— Открой, хозяйка, я тебе улов принёс!

Открываю окошко, Сашка протягивает мне завернутую в промасленную бумагу рыбину.

— Бери, скумбрия горячего копчения.

На заводе, где уже месяц трудится Сашка, бригадир убеждён, что воровство можно остановить только одним способом — легализовав его, то есть раздавая работникам иногда немного рыбы. Расчёт верный, потому что копчёная рыба — вещь,

конечно, вкусная, но не на каждый день. Приестся со временем так, что и воровать не захочется.

— Ленка моя ворчит: надоела ей уже эта рыба. Говорит, что и я сам уже насквозь рыбой провонял. Бери, угощайся по старой дружбе.

— Спасибо, Саш! Я тебе только сникерс предложить могу.

— Нет, спасибо, побегу я.

— Не зайдёшь на чай?

— Дома мои ждут. Маринка, кстати, куклу китайскую раскурочила, — Саша всё-таки купил её, когда получил расчёт на прежней работе. — Не поёт кукла больше.

— На следующей неделе шеф зайцев обещал завезти. Офигенные зайцы, пляшут и ушами машут. Мы с Ирккой животики надорвали. Могу отложить.

— Отложи, но не обещаю, что возьму. Хочу с зарплаты начать откладывать. На отпуск. Летом к морю хочу своих вывезти. Ну, до скорого.

Старый **р долго ворчал на меня из-за жалюзи. Разбирали их вместе и аккуратно доставали по пластинкам.

Вот так мороз и глупость ломают железо.

26

Толик появился сам. Так я ему и не позволила.

Постучал в окно. Потом всунул в него несколько свёрнутых в трубочку листов.

— Держи, я тут стихов тебе принёс. Погрешкиных и ещё... в инете нарыл. Ты вроде как поэзию любишь.

— Не без этого. Зайдёшь или как?

— Не знаю.

— Чего ты не знаешь! Заходи, чай недавно вскипятила, давай!

Я была ему рада. И мне было стыдно, что я давно не звонила ему, а он вот так пришёл, не с пустыми руками и не упрекает меня ни в чём. И я старалась быть приветливой, какой бывала редко. Спросила его, как дела, то да сё.

А он почему-то сказал:

— Я у тебя книги брал в прошлом году. Извини, что ещё не вернул. На следующей неделе — обещаю. Сегодня я без рюкзака, а в руках не хотел нести: снег.

— Да ладно. Я про них забыла уже.

— Я как-то мало стал читать.

— Я тоже. Раньше что-то из дому с собой брала, но потом как-то... вытеснила пресса литературу высокую... Хотя, знаешь, тут такое поле создаётся... Вот вроде бы сгущение попсы и чернухи, — я улыбаюсь, — а так странно иной раз бывает на душе...

Он изучает заголовки газет, разложенных на прилавке. Я слежу за его взглядом:

— Обещают повышение тарифов на ЖКХ... Артистке оперетты отрезали ногу...

А он вдруг повернул лицо в другую сторону, уставился на журнал «Вяжем сами», говорит:

— Мы должны расстаться.

— А...

Я хочу спросить: «А разве мы встречались?» — но не решаюсь, как-то неловко.

— Понимаешь, — продолжает он, — я влюбился.

— А... — снова говорю я.

— Ты её знаешь... Наташу... Она с нами была... Помнишь, когда пили у Ежа?

— А!

— Она продавщицей работает... как ты... только в магазинчике... там, во дворах... Мы с ней уже почти месяц, и... — он вдруг перешёл с извиняющегося тона на решительный, — мы счастливы. Я никогда не думал, что... Она очень светлая...

— Продавщица из круглосуточного? Крашеная брюнетка со скорпионом в носу?

Он принимает моё искреннее изумление за ревность:

— Вот уж не ожидал от тебя такого!

Он сердито смотрит на меня и краснеет. Снег в его волосах растаял, они мокрые и смешные. По его носу стекает капелька воды, он смахивает её рукой, вздыхает, берёт в коробке сникерс, разрывает обёртку и надкусывает его.

— По пальцу молотком тяпнул? — я киваю на его руку: на большом пальце часть ногтя почернела.

— А? Да.

— Не жри ты этот сникерс, ему сто лет в обед! — я вырываю у него шоколадку. — Вот, — нагибаюсь и лезу в ящик, — солёная соломка. Вещь!

— Да мне нравится сникерс этот. Я бы у тебя взял их все. Просроченные которые.

— Бери! Избавь меня от них. У тебя пакета с собой нет?

Он качает головой, я достаю пакет, ссыпаю туда сникерсы и, вручая ему, говорю:

– Спасибо.

– Тебе, – он берёт пакет. – Ты просто супер!

– Ещё бы! Отпускаю такого мужчину, и даже не с пустыми руками!

В окошко стучали, покупатель оказался доставучий. Когда я наконец-то освободилась, видела, что Толик уже ушёл, дверь-то я не заперала. Ну и бог с ним!

Ставлю кипятыльник. Снова стук в окно. Снова что-то продаю.

Кипящая в банке вода бьёт ключом. Выключаю кипятыльник, пью чай. Разворачиваю принесённые Толиком листы, читаю:

*Если б у меня был дом,
Одно-единственное слово,
Я бы не написал
Ни одного стиха,
Не слонялся бы от слова к слову,
Как от любовницы к любовнице,
Никого не любя.
Но я –
Бездомный (лучший!) поэт
Евгений Погремушка.*

Вот чудило-то! Я смеюсь так, что проливаю чай на газеты, злюсь на себя, убираю мокрую прессу, потом утираю слёзы и думаю, что, возможно, я войду в историю, оставив воспоминания о том, как я пьянствовала с гением мировой литературы.

Только он не прав. Слов куда больше, чем поэтов. И среди слов куда более распространена неразделённая любовь к людям.

27

Я люблю выходные, просыпаюсь обычно рано – привычка. Вера спит почти всегда до обеда.

Сегодня я иду в церковь на службу.

Приближается весна. На улице ужасно зябко, словно ты в тяжёлом пальто упал в холодную воду, выбрался, но вся твоя одежда и, кажется, ты сам просто пропитаны липким холодом. Как ни одевайся – не спасешься от этой всепроникающей тоски, которая пересчитывает твои позвонки своими ледяными пальцами.

Мне нравится приходить иногда в маленькую церковь, которая здесь недалеко, в пригороде, располагается. Всего пару остановок. По идее, в церковь ходят те же люди, что и в мой ларёк. Но я ни разу не узнала кого-либо из клиентов. У меня не очень хорошая память на лица. А быть может, лица молящихся отличаются от лиц покупателей. Не знаю.

Здесь тепло, некоторые даже снимают пальто и, свернув валиком, кладут их на лавки. Священник, высокий, серьёзный, с длинной русой бородой, кажется мне почему-то лёгким и сухим, как будто человеком, сделанным из бумаги. Кажется, поднеси к нему спичку – он вспыхнет и сгорит сию же секунду весёлым и ясным пламенем.

Он говорит проповедь, которую трудно слушать, потому что его тихие слова все очень похожи друг на друга. Эти слова не ссорятся, не смеются, не кричат и не плачут. Они просто идут след в след, и каждый может пойти за ними.

А потом священник говорит о том, что сегодня в честь воскресного дня у них, здесь недалеко, в небольшом прихрамовом домике, по традиции обед для всех желающих. Сейчас Великий пост, но ввиду нашей немощи, говорит батюшка, иногда позволительны такие скромные посиделки. Я уже была однажды на таком обеде: люди приносили еду из дома, грели чай, несколько детей, занимающихся в музыкальной школе, пели и играли на стареньком пианино. И в этот раз я снова решаюсь пойти на этот обед, есть неизвестно кем приготовленную еду в непонятно чьём обществе, просто потому, что мне не хочется идти домой.

Мне удастся примоститься с краю стола. Одна женщина в длинной юбке и повязанном назад чёрном платке, видимо здешняя распорядительница, даёт мне пластиковый стаканчик с чаем, а потом другая, сидящая рядом, протягивает тарелку с салатом. Это какой-то странный оливье с рыбными консервами, заправленный постным майонезом. Люди потихоньку рассаживаются кто где, разговаривают – все друг друга знают.

Та же женщина-распорядительница подводит к моему столу очень полную девочку, одетую в старую заношенную одежду. Девочка довольно резво для своей комплекции забирается на лавку. Её лицо прямо напротив моего, но в нём ничего

не разглядеть, в эти глаза-щёлочки мой взгляд не проникает. Ей тоже дают стаканчик с чаем, а за тарталеткой она тянется сама. Но не берёт её, а просто немного подвигает тарелку к себе — так, чтобы можно было доставать еду, не вытягивая руки. Потом берёт тарталетку и надкусывает. На её лице можно прочесть что-то вроде удовольствия. Она делает глоток чая — да, так и есть, это истинное удовольствие. Кто-то из детишек открывает пианино и начинает, спотыкаясь, играть «Собачий вальс». Девочка напротив расплывается в улыбке — это уже блаженство. Она пытается кивать в такт музыке и берёт следующую тарталетку, ест их одну за другой — ест, улыбается и раскачивается в такт музыке. На восьмой тарталетке детей отгоняют от пианино, а на девятой к нашему столу подходит женщина в платке и отодвигает от девочки тарелку.

— Хватит, — твёрдо говорит она. — Пора домой.

Девочка хнычет, но распорядительница стаскивает её с лавки, это стоит ей немалых усилий. Я замечаю, что сидевшая рядом с девочкой женщина украдкой запикивает ей в карман несколько конфет.

Когда распорядительница и девочка скрываются за дверью, та женщина говорит:

— Больная она, бедняжка. Отстаёт в развитии. Кормится по людям.

— Ну, по ней судя, народ у нас щедрый, — шутит кто-то, но смеяться всем как-то неловко.

— Любит она покушать, — продолжает женщина. — Ну и пусть. Слава Господу, что насыщает это чадо!

Дети снова добираются до пианино, кто-то пытается сыграть «Лунную сонату», но в стройную мелодию то и дело вламываются посторонние ноты — то самые высокие, то самые низкие, — видно, какой-то озорник мешает музыкально одарённому ребенку играть.

Я ухожу, зачем-то съев ещё две тарталетки — даже подташнивает от них.

28

Дома меня встречает запах печенья — настоящего, домашнего, вкусного. Вера выходит из кухни в коридор:

— Помнишь, ты хотела песочного печенья? Пару месяцев назад...

— Да... А ты... вспомнила? — Сердце вдруг начинает бешено колотиться, слёзы уже изнутри молотят по глазам, но я держусь — втягиваю воздух со свистом и говорю: — Тебе визу дали, да?

И улыбаюсь, потому что я немножко горда собой: научилась видеть, когда человек собирается сказать мне что-то такое — что, по его мысли, должно меня убить.

Раздеваюсь и иду пить чай с печеньем. Я загоняю слёзы внутрь, улыбаюсь. И говорю:

— Я сегодня поняла, что самое уродливое в мире.

Вера с интересом смотрит на меня.

— Счастье, — говорю я. — Но к тебе это не относится. Ты же веришь в подвохи, да?

Она кивает:

— В подвохи. В коварство судьбы. Но сейчас... — больше у неё ничего не получается придумать, и тогда она повторяет за мной: — Верю, — потом добавляет: — и исповедую...

29

Она оставила меня. Оставила одну в квартире, заплатив за месяц вперёд.

Да, у меня есть месяц, чтобы разобраться, что делать: уехать отсюда или найти новую соседку.

Вера оставила меня, я её проводила на поезд, потому что у нас здесь нет аэропорта. Мы прощались чинно-благородно, она говорила мне водушевяющие слова, обещала писать, звонить и прочее. Я отвечала, что буду скучать, ждать писем с подробностями о её новой жизни.

А внутри нарастал вой, словно пожарная сигнализация: «Не уходи, не уходи, не уходи-и-и-и!» И мне хотелось бежать за поездом, реветь, орать, выть, но я не сделала ничего этого. Даже когда она уехала. Я ходила на работу, готовила еду, сидела в интернете, вяло переписываясь с посетителями сайтов знакомств.

А вчера вот зашёл Толик. Отдать книги. Попытался починить нам унитаза. И залил всю квартиру водой. Толик — это типа мой парень.

Ой, я повторяюсь. И да, Толик не мой парень уже, верно. Как я забыла?

А сегодня я разрыдалась. Ревела как дура на автобусной остановке, и люди смотрели на меня как на больную. И ещё цыганке дала сигарету. И сама курила.

Ты слышишь меня, человек за стеной, я курила и дала сигарету беременной женщине!

Я прижимаюсь к стене и пытаюсь вспомнить его, человека за стеной, но другой образ — того, кто всё про меня знает и видит насквозь, — постоянно заслоняет его, мучает своим насмешливым взглядом, так что мне становится совсем плохо, изнутри поднимается жар, и я утыкаюсь лицом в подушку, как будто падаю в снег.

30

Весна сделала свое дело: я заболела.

С утра меня начал бить озноб, руки были ледяными, а лицо горело. Я прижимала ладони ко лбу, но никакого теплообмена не происходило: и холодна, и горяча, будто принадлежу двум стихиям. Волны морские ударяют в каменную стену, но она будет стоять ещё долго, долго...

Включаю электропечку, хотя уже тепло, можно обойтись без неё. Но я сижу на полу возле её крошечного зева и хочу стать маленькой-маленькой, чтобы поток тёплого воздуха подхватил меня и унёс к небу. Но разве небо — это не холодная вода, в которой плавают раскалённое солнце?

Я закрываю глаза. Кто-то стучит. Поднимаюсь:

— Дайте мне, пожалуйста, «Лизу»!

«...Лиза, не улетай, побудь со мной еще немного, Лиза!..»

Нет, я хочу улететь, никто меня не удержит. Хотя разве меня кто-то держит? У меня же нет никого. Никого? Никого нет, хорошо-то как. Сиди себе тихонечко у печки... Тишина. Ти-ши... Нет, снова стучат.

Опять стучат. Вскикиваю, ударившись головой о прилавок.

— Можно «Лизу»!

— «Лизы» нет!

— Как же, вот она лежит!

О Боже! Я же её только что продала! Но как так?

— Простите, не заметила! Вот, пожалуйста!

Да, в коробочке с деньгами всё та же мелочь, что и с утра, — никто «Лизу» не покупал. Приснилось. Болит ударенная макушка. Голова пустая, но её всё равно жалко...

Опять стук. Это шеф:

— Люд, аткрой, привёз сигареты...

Впускаю его. Начинаю сортировать принесённые им блоки и путаю «ЛМ» и «ЛД».

— Ну ты даёшь, Люд! Да ты савсэм бальной! Какой у тебя вид нэздоровый! Слюш, звани Ирк, пусть она придёт и тебя заменит! А так работат нэльзя, так ты мне нэправильна считат бушь — всю тарговлю спортишь!

— Хорошо, я позвоню Ире.

Шеф уходит, я долго ищущу телефон: в карманах, в сумке, наконец нахожу на полу, рядом с печкой. Ах да, я Вере эсэмэс набирала. Не до этого сейчас.

Набираю Ирку. Она берёт трубку после долгой паузы, в течение которой я успеваю утонуть в гудках.

— Привет! — говорит она. — Как дела?

— Ир, я заболела, — говорю я и дивлюсь своему лепету. — Смени меня, пожалуйста.

— Люд, да я сейчас далеко отсюда... в центре, в гостях у друзей... не могу вот так сразу...

— Но... выйди завтра за меня на работу, — говорю я как-то совсем робко. — Пожалуйста, Ир. Мне плохо.

— Хорошо, я вечером у тебя приму ключ. Дождись меня, я приеду. Может, не к восьми ровно, может, к полдевятому. Как удастся вырваться отсюда. Ты не переживай, всё будет зашибись! Дождись меня сегодня, а завтра хворай, лечись, делай что хошь! Только завтра. В общем, жди меня к полдевятому.

— Хорошо, Ир.

Я снова опускаюсь на пол. Закрываю глаза, в них как будто песок. Только где же море? Моря нет, нет слёз. Только пустыня...

Стучат, снова стучат. И снова стучат. Стучат.

Это поезд — моя жизнь — едет, и я знаю куда. В лес, где растут кресты.

— Девушка, впустите меня, пожалуйста!

— Что?

— Впустите меня, я из табачной компании. Я должен посмотреть, что из нашего ассортимента вы продаёте.

— А, хорошо.

Я открываю дверь. Наверно, надо было бы позвонить шефу. Он ничего мне про это не говорил.

Высокий красивый парень деловито пересчитывает пачки сигарет. Записывает всё в какую-то ведомость. На нём костюм, белая рубашка. Давно не видела людей, в которых есть что-то белое.

— Девушка, у вас телефон звонит, возьмите трубку.

— ...Люда, придёт парэн ат сигарэтн кампанни, впусти. Пусть пасчитаэт сигарэт.

— Хорошо. Ира сегодня вечером приедет за ключом.

— Ира? Харашо. Давай, вниматэльна будь.

Я нажимаю на отбой. Парень закончил пересчитывать сигареты и оглядывает киоск. Красивый парень, лицо тонкое, одухотворённое...

— Девушка, у вас ужасно грязная витрина! Цены на сигареты трудно разглядеть. Помойте её, пожалуйста!

— Хорошо.

Я беру в углу щётку с длинной ручкой и средство для мытья стекол. Выхожу на улицу и мою. Тру-тру-тру. Я старательная девочка. Я хорошая девочка. Мне жарко, очень жарко, очень-очень.

— Люда, привет! У тебя день уборки?

— Сашка!

Улыбаюсь ему во все тридцать два и говорю:

— Нет, я это... просто, чтоб Ирку не напрягать. Я болею. Она завтра вместо меня будет.

Сашка сегодня какой-то новый. Причёсанный такой. Выглядит культурно.

— На чай не зайду, тороплюсь. Мы с Ленкой заявление в загс отнесли. Свадьба у нас через месяц.

— Как здорово! — почти кричу я. — Сегодня хороший день!

— Не стой здесь, холодно. И... Ирке ещё раз позвони, напomini, чтоб тебя не забыла подменить, а то она к друзьям своим уехала, а они у неё... такие... Иди!

— Счастливо! Я ужасно рада! Я тебе зайца, что ушами машет, просто так подарю! — Меня пробирает кашель.

Даваясь им, захожу в ларёк. Парень из табачной компании листает какой-то журнал.

— Сколько? — спрашивает он у меня.

И я на автомате говорю:

— Пятьдесят восемь.

Когда он уходит, я понимаю, что сказала ему правильную цену. Хотя у меня, наверно, тридцать девять температура. Вот такая молодец, я отличный про-да-вец!

31

Ирка так и не приехала. Я прождала её до девяти часов, набирала её номер каждые десять минут — она не отвечала. Я думала про ДТП, про инфаркт, про падающие с крыш особо опасные сосульки.

Я ждала. Ждала бы всю ночь, если б ужасно не хотелось в туалет. Общественный уже закрыт, Ивановна давно домой ушла. А за ларьком дело делать как-то стыдно.

Потом я набрала шефа. Он приехал, забрал ключ и отвёз меня домой.

— Ирк, Ирк, — ворчал он. — Старший прадавец, повышенная зарплата, а атвэсвэннасть нэт! Иди, Люд, дамой. Атдыхай! Звани, кагда паправишься!

Открыв квартиру, я пулей бросилась к туалету. Счастье моё, сокровище, рай мой! Ошибалась я, ошибалась — счастье не уродливо, счастье прекрасно... Пусть и с подвохом.

А потом я долго рылась в аптечке, пила таблетки, укутывалась в одеяла и пыталась заснуть.

Не было ни сна, ни бодрствования, хотя никто не стучал. Нет, стучало сердце. Наверно, всё дело в нем. Нет покоя от него, проклятого.

Я не могу сама. Помогите кто-нибудь. И я позвонила в скорую.

32

Я стою у окна и смотрю на чёрную землю. Снег сошёл. Считается, что хорошо, когда уходит холод. Почему, ведь ему на смену приходит грязь?

— ...Ой, да как тут кормят — сама догадайся! Когда это у нас за казённый счёт хорошо кормили? — это надывается на телефоне моя соседка по палате, полная женщина лет сорока. Такие, идя из магазина с полными сумками еды, покупают у меня в ларьке журнал «Похудей-ка».

Да, кормят здесь не очень. Тушёная морковка да котлеты, в которых едва сохранился мясной привкус. А когда санитарка трясущейся рукой разливает компот, я всегда опасуюсь, что она его прольёт. Но, как ни странно, этого ни разу не произошло. Годы опыта, что ли.

— ...Воруют, конечно же, все воруют, — уверенно говорит тётка в телефон. — Себе и своим детям, а может, ещё и продают.

Я не злюсь на них, даже если они воруют. Думаю, я это заслужила. Не могу вспомнить всех, кого я обсчитывала. Где рубль, где два. Так я покрывала недостачи. Которые брались из сожранной моими друзьями солёной солонки и журналов, на которые проливался чай.

Я хорошо помню девочку в розовой куртке, которая купила у меня накладные ногти. Такая смешная девочка лет десяти. Она долго выбирала ногти, но в итоге остановилась, конечно же, на розовых. У неё было пятьсот рублей, и я обсчитала её на десятку. Отчётливо помню свою мысль: «По этой-то точно видно, что она не пересчитает». Девочка убежала, улыбаясь. А я потом вдруг страшно разозлилась на себя. А вечером сказала Вере, что в аду чёрт прижжёт раскалённую десятку к моему лбу. Вера ответила, что девочка, которой на карманные расходы дают пятисотки, наверняка из хорошей семьи. Но потом добавила, что если уж говорить о чертях, то они непременно насчитают проценты.

Здесь, в больнице, у меня неделю держалась температура под сорок. Назначенные сначала антибиотики не помогали. Потом доктор сменил лекарство, как он сам выразился: «Вспомнил о старом добром доксициклине», — и мне стало легче. Температуры сегодня нет, я чувствую себя очень слабой. Но лежать надоело, хочется хоть какого-то разнообразия. И я смотрю в окно, за которым чёрная земля.

33

— Дочка!

Я оборачиваюсь и вижу — вот уж ни за что не подумала бы! — отца. Он стоит в дверях палаты. Мама приходила два дня назад, когда у меня ещё была температура. Сегодня она звонила, мы поговорили немного. Мама сказала, что отец знает о моей болезни и, может, зайдёт, но я не ждала его.

— Привет, пап! — я киваю в сторону своей кровати. — Садись.

— Мама сказала, что ты болеешь...

— Воспаление лёгких.

— Да. Эта твоя работа...

— Я туда больше не пойду.

— Правда?

Я киваю и сажусь рядом.

— Да, шеф сразу всё понял, как только я сказала про больницу. Он не отговаривал даже. Ирка звала вернуться.

— Ирка?

— Сменщица. Теперь трудно будет найти человека на моё место. В смысле, нормального человека.

Я смотрю на отца: меня всегда удивляли его глаза — серо-голубые, чуть-чуть прищуренные, почему-то они кажутся близорукими, хотя у него нормальное зрение. Как будто он старается увидеть в расплывчатых контурах мира что-то определённое, но оно ускользает от него. Я сужу по себе, конечно, — просто вижу в этом сходство между нами: мне ведь тоже трудно многое разглядеть.

Отец улыбается мне, как всегда, растерянно и немного виновато:

— Мама считает, что я должен был с самого начала запретить тебе этот ларёк и эту самостоятельность. Но я не хотел...

— Всё хорошо, пап... Это я сама... Просто так получилось, что... Весной я всегда болею, а тут выдалась такая неделка... Ерунда, я поправилась почти.

— А я тебе бананов принёс. И апельсинок.

— Спасибо, пап, — я кладу голову ему на плечо, на вязаный серый свитер. — Скажи, а ты ушёл... просто потому, что хотел идти, да?

Он вздохнул:

— Наверное. Ты на меня... сердисься, как и мама?

— Нет, конечно. Ты же не сбежал. Я рада, что ты у меня такой.

— Мама считает, что ненормально, когда семья живёт так: я сам по себе, она сама по себе, ты сама по себе...

— А давай к ней каждую неделю приходите. По воскресеньям.

— Ей не понравится.

— Понравится. Мы будем с тортом и цветами.

Я знаю, что маме не понравится, но ничего другого пока предложить не могу.

— Ты будешь искать новую работу?

— Ага. И новое жильё.

- Я поспрашиваю, может, кто комнату сдаёт.
- Спасибо. Мне повезло с тобой и мамой.
- Выздоровливающие всегда сентиментальны, – с лёгкой ехидцей говорит папа, но я знаю, что ему приятно.

34

Когда отец ушёл, я задремала. Проснулась от того, что зашедший в палату врач громко спросил:

- Коровьева Маргарита – это кто?
- Я, – ответила полноватая женщина.
- Пройдите, вам нужно сдать кровь, – сказал врач.

Женщина встала, одёрнула цветастый халат и пошла за ним.

«Фигасе новость, – подумала я, засыпая. – Маргарита вышла за Коровьева! Если бы меня звали Маргарита, я бы попросила у Воланда, чтобы Ивановне никто и никогда больше не мог продать игрушки».

Заснуть снова не даёт мобильник. Это Ирка, не беру трубку. Она уже трижды просила прощения: «Людочка, милая, прости меня, пьяницу! Я же теперь без тебя погибну, я же без выходных работать буду, я же теперь прям в ларьке пить буду!»

Пусть пьёт где хочет. Выключаю звук. Чуть позже, перед сном, мне позвонит мама, не жди я её звонка – вообще отрубил бы телефон.

Он снова вибрирует. На этот раз эсэмэс: «Мой podvoh – eto ty. Uzhasno skuchayu». – «А ya veseljus' i pju vodku». – «Neispravimaya, ya tya lyu!» – «Ya tya tozhe, predatelnitsa!»

В палату возвращается Маргарита, что-то недовольно бормоча, ложится на кровать и достаёт из тумбочки яркий журнал. Я его знаю, он у нас по пятьдесят рублей. На обложке написано: «Как правильно загадывать желания». Интересно, какие желания у этой коровки?

У меня есть одно желание, одно-единственное желание: я хочу научиться уходить, а не сбегать. Если мой характер – это испытание, я хочу его пройти. Своими ногами. Даже если этот путь лежит через восстановление в универе.

Когда-то над облаками я уже приняла решение – поздно, батенька, пить боржом. Кстати, я даже не знаю, какой он на вкус, тот боржом.

А ещё я очень хочу, чтобы слова никогда не изменяли Евгению Погребушке, лучшему поэту. Сашка – Ленке, Ирка – водке, девушка Рубанка – Толику. А сам Рубанок – своим принципам. А Ёж перестал бы обижаться, когда его спрашивают: «Ты Ёж, потому что колешься, да?»

И...

Но можно ли давать психу волшебную палочку? А ещё ужасно хочется покурить.

Людмила Александровна ГАЛАГАНОВА

(псевдоним – *Эмилия Галаган*)

родилась в Гомеле (Беларусь).

Пишет рассказы, повести.

Публиковалась в сборнике «Пролог. Молодая литература России» (2007).

Рассказы входили в шорт-листы конкурсов

«Мгинские мосты» (2019), «Хрустальный родник» (2019).

Вошла в число победителей конкурса «Почитай» (2019).

Лауреат конкурса «Северная звезда-2019» в номинации «Проза».

Работает редактором в издательстве «Наука».

В журнале «Север» публикуется впервые.

